

# Субботние подсвечники



Когда я сказал моему отцу, что уезжаю в Израиль, он, отставной полковник артиллерии и коммунист, не выразил никаких чувств по этому поводу, а только наморщил гармошкой лоб, заморгал из-под сдвинутых седых бровей и спросил:

– С каких это пор ты стал евреем?

Я не нашёлся, что ему ответить. Действительно, с каких пор? Весь советский образ жизни, да и немалые старания моего отца сделали всё, чтобы изгнать из моей памяти даже намёк на какое-нибудь национальное чувство. Я рос никем: ни русским, ни евреем. А просто советским, каким-то абстрактным, то есть никем. Ответ на недоуменный вопрос отца родился в самые последние часы моего пребывания на русской, советской земле – в московском аэропорту „Шереметьево”, среди форменных мундиров таможенных чиновников и истерически взвинченных лиц проходящих досмотр пассажиров самолёта, летящего на Вену.

В толпе не менее взвинченных провожающих я то и дело натёкался на сосредоточенное угрюмое лицо отца, совсем ещё не дряхлого и в свои годы, почти 70 лет, не потерявшего военной выправки. Его привычный суровый командирский взгляд не оттаял даже здесь и неотступно сопровождал меня в метаниях от чемоданов к столу, где немолодой с испытанным лицом таможенник дотошно и скучно ковырялся в моих вещах.

– А это что?

Руки таможенника извлекли из чемодана два массивных подсвечника, тепло замерцавших серебряным отливом под неживым светом люминесцентных ламп. Два еврейских субботних подсвечника отличной работы. Б-г вещь какого столетия. С тяжёлыми гроздьями винограда вокруг подножья и по спирали до самого верха.

– На вывоз за границу положено не больше 900 г серебра, – сказал чиновник, взвешивая на ладонях подсвечники. – А тут на полтора килограмма потянет.

– Пропустите подсвечники... будьте добры... – вдруг заговорил я не своим, заискивающим тоном. – Это бабушкины... память о ней...

– На память... – сонно сказал таможенник, – хватит и одного подсвечника.

– Они парные... для субботних свечей... их нельзя разделять.

– Не положено.

Мне было противно, что я унижаюсь, но я почему-то не мог остановиться и продолжал канючить, забыв о своём самолюбии, словно на этих подсвечниках свет клином сошёлся и без них мне уехать никак нельзя. Я оглянулся на отца, который, без сомнения, видел всё и слышал и, конечно, должен в душе осудить меня за проявленную слабость и непонятное пристрастие, с каким я отбиваю у таможенника эти два подсвечника. И это после того, как я лишился, отказавшись от советского гражданства, и квартиры, и имущества, и всего, что нажил своим горбом.

Но вместо осуждения я прочёл в глазах отца совсем иное. Его замкнутый непроницаемый взгляд, отработанный долгими годами военной службы, вдруг раскололся, поплыл, и в нём

пробудились какой-то живой трепет и совсем уж непривычная для него еврейская скорбь. Он узнал эти субботние подсвечники.

У меня дрогнуло сердце. Я нашёл ответ на вопрос отца: „С каких это пор ты стал евреем?“ Бабушка Роза. Мать моего отца, которую все называли барыней. И в этой кличке не было насмешки. А совсем напротив – почтительное восхищение. Я появился на свет, когда она уже была стара. И поэтому помню её совсем седой. Её волосы были почти белыми и густыми, и носила она их по-старомодному, собрав кверху и связав на макушке узлом, откуда торчали головки чёрных шпилек. И одета она была, словно сошла с пожелтевшего дагерротипа и ходила по советскому городу, в середине 30-х годов, среди женщин с короткими стрижками и чёлками на лбу, как восковая фигура, за которой не уследили музейные сторожа. Она носила блузки с воланами и буфами на рукавах, длинные чёрные юбки, и на её тонком греческом носу поблёскивали стёклышки пенсне с чёрной лентой, свисавшей по щеке до шеи. В нашем городе, по крайней мере, я людей в пенсне больше не встречал.

В советское время, когда всех людей уравнивали и все имели одинаковый нищий и затёртый вид, бабушка Роза, единственная в городе, оставалась барыней, какой и была до революции. Когда-то её отец, а, следовательно, мой прадед, был купцом первой гильдии, что по нынешним понятиям равняется миллионеру, с той лишь разницей, что его миллион исчисляется в царских золотых монетах, а не в нынешних обесцененных бумажках. И проживал он в столице Российской империи Санкт-Петербурге, где евреям проживать категорически воспрещалось. Кроме тех, кто принял христианство, стал православным. А таких уже никто евреями не считал. Мой прадед не крестился, чтобы получить право жительства в столице. В законе была оговорка: еврей, обладающий имуществом не меньше, чем на миллион рублей, получал разрешение поселиться в Санкт-Петербурге и в Москве, которая считалась второй столицей и куда евреев тоже на дух не подпускали. У прадеда состояние оценивалось не в один, а во много миллионов, поэтому он жил в Петербурге и имел дома в разных городах Российской империи.

В том городе, где много-много лет спустя, родился я, в маленьком тихом городе на реке Березине, со всех сторон окружённом вековыми сосновыми и еловыми лесами, прадед тоже выстроил себе дом. Потому что раз или два в году он наезжал сюда из Петербурга. По реке Березине его люди сплавляли на юг плоты из огромных, остро пахнущих смолой брёвен, и такому крупному лесопромышленнику не к лицу было останавливаться в местной захудалой гостинице. Дом, который построил прадед, был, не скажу что самым большим в городе, но зато самым красивым, без всякого сомнения. Он напоминал и средневековый замок в миниатюре, и терем из русской сказки. В три этажа, тёмно-зелёный, с отделанными в ёлочку фигурными дощечками стенами, с кружевной резьбой на оконных наличниках, с двумя, как церковные купола, башенками, матово отсвечивающими цинком, и такими же цинковыми с бахромчатой резьбой по металлу водосточными трубами, что змеями вились, причудливо изгибаясь на выступах карнизов, от цинковой крыши до каменного, как крепостная стена, фундамента. В окружении столетних голубых елей, чьи тёмные густые лапы были словно сахарной пудрой посыпаны, дом с башенкой выглядел новогодней ёлочной игрушкой.

После революции советская власть конфисковала дом, выселив его обитателей, и те ещё были рады, что легко отделались: их могли запросто поставить к стенке и расстрелять. В доме разместилось самое главное учреждение – городской комитет партии большевиков. Судьба всех жителей города теперь зависела от того, с какой ноги встали люди, разместившиеся за столами на всех трёх этажах дома моего прадеда. Дом хоть и оставался красивым, но глядеть на него было жутковато.

Когда я родился, уже мало кто помнил, кому этот дом когда-то принадлежал, а я просто не знал ничего. Но однажды бабушка Роза, гуляя со мной, остановилась перед зелёным домом с башенками, но на противоположной стороне улицы, и сказала:

– Если бы не советская власть, этот дом принадлежал бы тебе.

– Зачем мне дом? – удивился я, не вынимая изо рта палец, который старательно сосал. – Человеку достаточно одной комнаты. И в ней можно жить вдвоём и троём – так веселее.

– Когда подрастёшь – поймёшь.

Бабушка выдернула мой палец изо рта, а мои губы вытерла носовым платком. Она повела меня дальше, но я всё оборачивался на дом. Мне вдруг захотелось заглянуть внутрь, посмотреть, что там делают люди на всех трёх этажах, которые могли бы быть в полном моём распоряжении, если б не советская власть.

Я попросил бабушку вернуться. Она печально показала мне не пальцем, а глазами на огромного милиционера с револьвером в чёрной кобуре на ремне, который стоял перед входом, как бы загоразивая его.

– Туда нужен пропуск, – вздохнула бабушка. – А так не пропустят... если ты не коммунист. Мы с тобой оба, слава Б-гу, беспартийные.

– Я вырасту и стану коммунистом, – сказал я.

– Не спеши. Достаточно нам того, что твой папа коммунист.

Бабушка говорила правду. Сын „барыни” был коммунистом. Во время революции её выселили из зелёного дома с башенками, и с тех пор она уютилась в подвале многоэтажного дома. Её комнатка с подслеповатым окошком у самого потолка, где виднелись лишь ноги прохожих, даже не была оклеена обоями, и стены были красные, по цвету кирпичей, из которых были сложены, с серыми цементными прожилками между кирпичами. Сейчас даже модно оклеивать стены обоями, имитирующими кирпичную кладку. В этом есть какое-то кокетничанье с бедностью. У бабушки были стены из реальных кирпичей. И бедность была без кокетства, реальной. Вдоль стен вились ржавые водопроводные трубы. Зимой кирпичи слезились от сырости, а бабушка кашляла, подолгу, со всхлипами в лёгких.

До революции она не имела понятия о бедности. Училась за границей, в Бельгии, и говорила по-французски с такой же лёгкостью и грациозностью, как и по-русски. После революции она зарабатывала себе на пропитание частными уроками французского языка, которые давала детям новой элиты: бывших сапожников, ставших хозяевами в стране. У неё было четыре сына, с которыми занимались бонны и гувернантки. Бабушка не только не знала, как пеленать ребёнка, она не помнила ни одной колыбельной песни, потому что её детей укладывали спать няньки.

Однажды, уже позже, из-за этого произошел конфуз. Я ещё был маленьким. Мои родители были куда-то приглашены в гости, и поэтому к нам, в военную крепость за городом, вызвали бабушку, чтобы она провела ночь со мной. Я долго не засыпал. И бабушка стала петь мне колыбельную песню. Мне понравилась песня. Бабушка повторила её много раз, пока я не уснул. Эта колыбельная застряла в моей памяти. И мелодия. И слова. На идише. Я её помню до сих пор, хотя с тех пор ни разу не слышал, чтобы её пели. Много дней спустя после того, как бабушка у нас ночевала, при гостях я спел эту колыбельную песню, и гости долго и дружно смеялись. Потому что песня эта оказалась не колыбельной, а старинным любовным романсом. Романсы бабушка знала, а колыбельной – ни одной.

Тем не менее, когда у меня появился сын, и мне доводилось его укладывать спать, я почему-то пел ему тоже не колыбельную, а бабушкин любовный романс. И он засыпал, улыбаясь во сне.

Её сыновья ещё были подростками, когда их переселили в подвал. Но если б только это, было бы полбеды. На детях лежало проклятье происхождения. Они были из богатых, и революция швырнула их на самый низ социальной лестницы. С этим клеймом они были обречены. Перед ними, как перед прокажёнными, были закрыты все пути. И несовершеннолетние мальчишки, бабушкины сыновья, оставили её, разбежались, кто куда, по всей России и там, скрывая

происхождение, выдав себя за сирот времён гражданской войны, стали равноправными, поступили учиться и быстро сделали карьеры инженеров, учёных и офицеров.

К бабушке они не наведывались – это могло подмочить их репутации. Лишь посылали ей кое-когда денежные переводы и редкие, очень редкие письма, в которых упоминались лишь самые важные события: их женитьбы и имена жён, даты рождения детей с присовокуплением их имён, а также фотокарточки, с которых глазели на бабушку незнакомые ей внуки.

Бабушка не обижалась на своих сыновей. Она всё понимала. Не знаю, одобряла ли она ту цену, какую платили сыновья за свою карьеру при рабоче-крестьянской власти. Но я не помню, чтобы она хоть раз их укорила. Лишь со вздохом говорила:

– Господи, не покарай их!

Эта фраза была самым сильным проявлением гнева. Она заменяла бабушке проклятье. Помню, и я удостоился его. Я уже был школьником, носил на шее красный галстук пионера и под барабанную дробь и надрывные вопли сверкающего горна маршировал в колонне таких же, как я, мальчиков и девочек, с такими же красными галстуками на тоненьких шеях. Нашим богом в стране безбожников был наш вождь Сталин, а нашим будущим – коммунизм. Чтобы строить новое, надо ломать старое. Так учили нас. Строить мы не умели. Зато ломать – с наслаждением. Нас, несмышлёных, взрослые негодяи натравили на религиозных стариков. Нам ободряюще сказали, что мы можем ворваться в церковь или в синагогу и безнаказанно громить всё, что попадётся под руку. И если кто-нибудь вздумает нас обидеть, за нас вступится милиция и не позволит трогать маленьких. Ох, и побушевали мы, юные кретины, опьянённые безнаказанностью, в русском православном соборе с голубыми куполами и позолоченными крестами на них, а потом повторили то же самое в старенькой еврейской синагоге, раскидывая свитки Торы и таская за седые бороды древних согбенных старцев.

Домой я пришёл в тот день поздно, с пылающими от возбуждения щеками и с нехорошим блеском в глазах. Снял красный галстук с шеи, аккуратно повесил его в шкаф и пошёл умыться, чтобы остудить лицо. У нас в гостях была бабушка, и она сливала мне из ковшика холодную воду на подставленные ладони. А я, пока мылся, захлёбываясь, рассказывал ей, как интересно провёл день. Бабушка не дала мне договорить. Наотмашь влепила пощечину по мокрому лицу, потом вторую, и содрогнулась от сделанного, потому что прежде за самые жуткие проделки ни разу не коснулась меня пальцем, подняла лицо к потолку, и, сдерживая дрожь, всхлипнула:

– Господи, не покарай его! Ибо он не ведал, что творил!

Я считаю, мне повезло куда больше, чем моим двоюродным братьям и сёстрам, полукровкам, жившим в Москве, Ленинграде и Казани. Они не знали бабушку Розу и очень многого лишились, как если бы выросли без витаминов. Лишь один сын бабушки Розы, мой отец, жил в том же городе, что и она, потому что судьбе было угодно, чтобы конно-артиллерийский дивизион, в котором он служил, стоял в гарнизоне именно там, и стоял много лет подряд, до самого начала Второй мировой войны. А где дивизион стоял после войны, если этот дивизион вообще уцелел, никому неинтересно, потому что мой отец в нём больше не служил. А, главное, бабушки больше не было в городе – она умерла, а если быть более точным, была убита оккупантами и своими местными полициями, как и все другие евреи, не успевшие бежать от войны на Восток, вглубь России.

Я был единственным евреем среди внуков бабушки Розы и до сих пор разговариваю на отличном идише, хотя с каждым годом встречаю всё меньше и меньше собеседников, способных тягаться со мной на равных на этом, к сожалению, вымирающем языке. Писать и читать не умею. Только разговариваю. Потому что схватил язык на слух. От бабушки Розы. Её идиш был совсем не похож на тот скрипучий, картавый язык, на котором ругаются и посылают всему миру проклятия базарные торговки. Он также отличается и от сухого лающего языка еврейских книжников, похожего на плохой немецкий. Бабушкин язык был певуч и горько-сладок, как грустная еврейская песня.

Идиш не был для неё основным языком. Читала она только по-русски и по-французски. И в разговоре пользовалась преимущественно русским. Идиш был её увлечением, даже страстью. Интерес к этому языку был у неё исследовательский. Она с ним обращалась как археолог, собирая по крупицам языковые драгоценности и осторожно очищая его от вульгаризмов, отметая весь налипший веками мусор. Бабушка обожала подолгу разговаривать с еврейскими портнихами, наслаждаясь их цветистой скороговоркой, терпеливо слушать грубоватую, но сочную, как квашеная капуста, речь извозчиков и балагул и, как курочка по зёрнышку, отбирала искрящиеся алмазы и складывала в копилку. Поэтому, когда заговаривала она на идише, слушать её было удовольствием.

В нашем доме на идише не разговаривали. Ни отец, ни мать. Хотя знали язык. В нашем доме, где обычными гостями были сослуживцы отца из конно-артиллерийского дивизиона, разговаривали только по-русски. Лишь когда мои родители оставались одни и хотели обменяться мнениями о чём-то, не предназначенном для детского уха, они вполголоса перекидывались несколькими фразами на идише. Язык, на котором я заговорил в год, был, разумеется, русским.

Бабушка навещала нас раз в неделю, по субботам. Аккуратно причёсанная, с высоко уложенными на голове седыми волосами, увенчанная тёмным роговым гребнем, с неизменной кружевной чёрной шалью на плечах, в поношенных, но почищенных кремом старомодных ботинках, высоких, со шнуровкой, она шла пешком через весь город, пересекала реку по железному гулкому мосту, выходила на бульжное шоссе, уложенное на насыпи, потому что луга с обеих сторон были низкими и топкими, и по ним разгуливали на красных тонких ногах цапли. Шоссе вело к красным кирпичным стенам военной крепости, построенной ещё при царе и обнесённой высоким земляным валом, поросшим кустами орешника.

У самых ворот крепости с полосатой будкой и полосатым шлагбаумом бабушка доставала из складок кофты своё пенсне с чёрной ленточкой и не надевала на нос, а, как лорнет, подносила к глазам, чтобы разглядеть часового, солдата с красной звездой на тулье фуражки, с простоватой скуластой рожой, уже издали скалившего ей в улыбке свои крепкие зубы. Часовые знали бабушку и пропускали без разговору. Её знали и любили. Потому что не было случая, чтобы она чего-нибудь не подарила часовому. То пачку папирос, а то и пряник домашнего изготовления. Для бабушки Розы что солдаты, что арестанты, были людьми одного сословия, которых надо жалеть и чем-нибудь подсластить их нелёгкую жизнь. В руках она несла не сумку, а узелок, повязанный из чистого платка. В нём лежали гостинцы для внука: коржики, усеянные маком, и пряники, липкие от мёда. Бабушка в пятницу пекла всё это в голландской печи, которая дымила из щелей и погружала весь подвал в синий едкий туман.

Я уже ждал её прихода с самого раннего утра, когда только открывал глаза. Вместе с бабушкой в нашу квартиру входил вкусный и сладкий аромат её гостинцев. Со мной она здоровалась на идише и требовала, чтобы я отвечал ей на этом языке.

– Стыдиться нечего родного языка... даже если твой папа коммунист и красный командир, – говорила она мне, подслеповато косясь на закрытую дверь в другую комнату, где, по её предположению, не особенно торопился выйти к своей матери мой отец. – Если ты будешь отвечать мне на идише – получишь пряники, которые бабушка испекла своими руками, а если нет, то пусть тебе папа покупает гостинцы в советском магазине.

И я, по природе весьма ленивый, готовился к приходу бабушки как к экзамену, мучил маму вопросами, по сто раз повторял услышанные от неё слова, которые я собирался преподнести бабушке как сюрприз. Идиш евреи называют „мамелашн” – языком мамы. Я его могу смело назвать „бобелашн” – языком бабушки. И для меня он связан с ароматом ванили и пряностей, который источали её гостинцы. Для меня этот язык сладок и пахуч, и до сих пор, проходя мимо кондитерских и уловив ноздрями запах печенья, начинаю автоматически складывать в уме фразы на идише.

Иногда мама приводила меня в гости к бабушке и оставляла в её подвале ночевать. Это случилось, когда моим родителям надо было куда-то отлучиться надолго из дому. Оставшись вдвоём, мы разговаривали только на идише, и я поражаюсь – до чего красивым и благозвучным он становился в устах этой старенькой подслеповатой женщины. Она не была националисткой. Боже упаси! Родной язык она упрямо сохраняла потому, что новая власть, которую она на дух не принимала, пыталась этот язык умертвить, выветрить из голов евреев.

Она была религиозной, но берегла еврейские традиции не так уж по привычке, как из чувства сопротивления безбожному и безнравственному режиму, которому верой и правдой служили её сыновья. После выселений, реквизиций и конфискации у бабушки ничего не осталось от прежнего имущества, кроме ветхой одежды, многократно перешитой и штопанной. Ей также удалось сберечь два старых подсвечника. В них набожные евреи зажигают свечи по субботам. Эти подсвечники были из чистого серебра и матово лоснились, когда бабушка натирала их песком. Они были тонкой художественной работы: увиты по спирали гроздьями винограда и довольно тяжёлые на вес – когда я был маленьким, еле удерживал в обеих руках. На самом верху каждый подсвечник был увенчан раскрытым бутонем розы. Тоже из литого серебра. В этот бутон бабушка вставляла оплывший огарок свечи и зажигала тёмный фитилёк, головкой шпильки выковыривая его из застывшего парафина. Оба огарка в подсвечниках горели каплевидными язычками, вытягиваясь в тёмную ниточку копоти и покачиваясь, когда хлопала на лестнице дверь или наверху за подвальным окошком погромыхивала на улице по булыжникам телега. Эти два огонька озаряли мягкое, в складках, бабушкино лицо, кружевной белый платочек на голове, отражались слепящими бликами в стёклах пенсне.

Бабушка рассказывала мне как она умудрилась сохранить подсвечники даже в ту пору, когда вскоре после революции советская власть отбирала дорогие вещи у их владельцев, и в первую очередь золото и серебро. За укрывательство таких вещей владельцев, не желавших расставаться со своим добром, держали в тюрьме, пока они не сознавались, куда спрятали это добро, а особенно упрямых в назидание другим ставили к стенке и расстреливали. Революция у бабушки отняла всё, и она даже не очень и скорбела. А вот с этими двумя подсвечниками, цена-то которым не Б-г весь какая, расставаться никак не желала. По всему городу шли обыски. Сотрудники ГПУ, в кожаных куртках и с большими маузерами в деревянных кобурах, врываются по ночам в спальни к обывателям, на кого поступал донос, и всё переворачивали кверху дном, пока не находили в тайнике пару серебряных ложек или золотую брошь. Добыча тут же конфисковывалась в пользу государства, а её бывшему владельцу за укрывательство припаивали пяток лет тюремного заключения. Без разбирательства. И без суда. Именем трудового народа.

Свои подсвечники бабушка Роза укрыла надёжно. Кто-то их засёк у неё и донёс властям. Дважды обыскивали подвал: ничего не нашли. В третий раз искать не стали, а пришли ночью, велели одеться и увели с собой. В городском отделе ГПУ, в заплёванной и прокуренной комнате, бабушку допрашивал сам начальник Вертубайло, чахоточный скелет с нечёсаным скальпом. В накинутах на острые плечи чёрной комиссарской кожаной куртке он сидел на стуле, поигрывая револьвером в костлявой руке, а бабушку оставил стоять. Бабушка не испугалась его угроз и спокойно отвечала, что она ни о каких подсвечниках ничего не знает, и что её оклеветали.

Тогда Вертубайло вызвал двух красноармейцев с винтовками, к которым были примкнуты гранёные штыки, и приказал вывести её во двор и расстрелять. Красноармейцы повели её, и, в дверях, Вертубайло окликнул:

– Ну, сволочь, жить тебе осталось пять минут. Сознаться!

Бабушка не ответила ему и вышла за дверь. Красноармейцы спустились с ней по замызанной лестнице на первый этаж, вышли в маленький утопанный дворик без единой травинки, окружённый со всех четырёх сторон глухими кирпичными стенами, а в местах, где раньше были окна, проёмы без рам были затянуты мешками с песком и крест-накрест заколочены старыми трухлявыми досками.

Её, полуживую, поставили спиной к стене, сами отошли шагов на пять, подняли винтовки и навели на бабушку. Сверху со второго этажа высунулся из окна нечёсанный Вертубайло и насморчным голосом скомандовал медленно, с расстановочкой:

– По врагу революции... именем трудового народа... слушай мою команду... стрелять при счёте „три”... считаю... Раз!

Бабушка закрыла глаза.

– Покажешь, где подсвечники, буржуйское отродье? За кусок серебра жизнь свою собачью не пожалеешь? Считаю... Два!

Дальше бабушка ничего не слышала, хотя чувств не лишилась и не рухнула навзничь. Просто отключилась.

– Не врёт, стерва, – сплюнул со второго этажа чахоточный начальник ГПУ. – Гоните её в шею.

Бабушку вывели на улицу и подтолкнули в спину. И она пошла. Понемногу оживая. Пришла к себе в подвал, когда уже стемнело. Стала свет зажигать и вспомнила, что пятница. Пошла и принесла из тайника подсвечники, поставила их на столе, воткнула по свечному огарку, засветила и при колеблющихся огоньках зачитала молитву на древнееврейском языке, застрявшую в памяти ещё с детства. С тех пор она стала произносить молитву каждую пятницу, перед ужином, как это делала её покойная мать, а до неё мать матери. Молилась она в одиночестве, без свидетелей, а то, чего доброго, донесут куда следует, и это может плохо отразиться на карьере её сына, моего отца. Поэтому даже и при мне, своём любимце, она этого не делала, а если я застревал у неё допоздна в пятницу, зажигала свечи молча.

Как бабушка молится, я всё же услышал. И не потому, что схоронился неприметно и проследил. Нет. На нашу семью навалилась беда. Бабушкиных сыновей, живших в Москве, Ленинграде и Казани и занимавших там очень ответственные посты, одного за другим арестовали, как иностранных шпионов. Какое-то время оставался на свободе лишь мой отец. Потом и его взяли, подняв всю нашу квартиру на ноги поздней ночью, и я, ещё не совсем очнувшийся от сна, видел, как его уводили, велев надеть не военную форму, а гражданскую одежду. Единственный гражданский костюм отца незадолго до этой ночи мать отдала в чистку, и он ушёл в тюрьму в спортивных тренировочных шароварах и вязаном свитере, со звездой на спине – эмблема спортклуба, лишь на ноги ему разрешили натянуть армейские сапоги, но не хромовые, парадные, а из яловой кожи, в которых он ездил на полевые занятия.

Таким образом, и я, как и мои двоюродные братья и, как я потом узнал, тысячи и тысячи других детей по всему Советскому Союзу, стал сыном „врага народа”. А бабушка Роза стала матерью четырёх „врагов народа” – по количеству арестованных сыновей. Их, кроме того, что они – агенты иностранных разведок, обвинили также и в сокрытии своего буржуазного происхождения. Так что все их уловки, отдаление и отчуждение от матери, не помогли. Только напрасно старушку обижали. В ГПУ все знали и, небось, посмеивались, видя, как они упорно отгораживаются от своей матери и подчищают все следы своего „преступного” непролетарского происхождения.

Вот тогда-то я впервые увидел всех бабушкиных внуков – моих двоюродных братьев – вместе под цементным потолком её подвала. Их мамы, одна – татарка, другая – русская третья – украинка, после ареста мужей были выселены из своих квартир прямо на улицу, с детьми. Куда им было деваться? Родственники в страхе отвернулись от них, чтобы на себя не навлечь беды. Даже родители побоялись приютить своих дочерей с внуками, хотя они были самого пролетарского происхождения, и в своём прошлом им нечего было таить от советской власти. Не пустили на порог. И, не сговариваясь, из Ленинграда, Москвы и Казани, купив на последние деньги билеты на поезд, устремились все три невестки с детьми в наш маленький город, к бабушке Розе, которую до того ни разу не навестили, в тайной надежде, что она не прогонит, даст им кров.

Бабушка Роза, мудрая и великодушная, с каждой из них поцеловалась при встрече, как с родной дочерью, с татаркой Гюзель, и с русской Марусей, и с украинкой Валентиной, и всем им нашла место в своём тесном подвале.

На всю жизнь запомнил я ужин у бабушки в ночь на субботу. За столом было тесно, и дети сидели на коленях у матерей, и, потому что не хватало посуды, каждый ел из одной тарелки с матерью. Бабушка поставила посреди стола свои два серебряных подсвечника с новыми свечами. Зажгла их. И сказала молитву по-древнееврейски (тогда я впервые услышал эту молитву), как фокусник в цирке, сделав ладонями вроде крыши над трепетными огоньками, а потом этими же ладонями проведя по своему лицу. Она благословила хлеб и еду. Спокойно и с достоинством попросила у еврейского Б-га, воздев близорукие глаза к бугристому цементному потолку подвала, сжалиться над безбожными её сыновьями и не оставить сиротами этих детей, в каждом из которых вместе с русской, татарской и украинской кровью была частичка её, бабушки Розы, еврейской крови. Она разговаривала с Б-гом на его языке. Не на идише. По-древнееврейски. И не только все три невестки – одна из мусульман, две другие христианского, православного происхождения, но и я – единственный внук её, на все сто процентов еврей, не могли понять ни слова. Но зато мы все поняли о чём речь, следя за бабушкиными глазами и слушая, с какой болью и страстью говорит она с потолком.

С той ночи у меня, выросшего без Б-га, в моей одурманенной голове родилось подозрение, что вопреки всем уверениям советской власти, моих школьных учителей и воспитателей в детском саду, Б-г всё-таки существует. И сердце у него – не камень. Потому что он, Б-г, услышал молитву бабушки Розы. Все сыновья, год или два спустя, вернулись из заключения живыми. Но не невредимыми. Они были очень крепкими и упрямыми – сыновья бабушки Розы – и не подписали ни одного обвинения в шпионаже и вредительстве, сколько их ни били на допросах. Они вернулись с широкими расплюснутыми носами, какие бывают у боксёров, с поломанными и неправильно сросшимися пальцами на руках, и вместо своих белых зубов, с какими их увезли, объявились дома со вставными металлическими, нестерпимо сверкавшими, когда они разжимали свои неровные, в заживших шрамах, губы.

Тогда, в ту ночь на субботу, я как зачарованный смотрел на огоньки на кончиках свечей в серебряных тяжёлых подсвечниках. Эти огоньки, чуть колеблемые, отражались на выступах каждой виноградины в серебряных гроздьях, обвивавших подсвечники, и оттуда зайчиками играли в заполненных слезами до краёв ресниц глазах женщин, плечом к плечу сидевших за столом и внимавших непонятным, но убедительным словам, которыми бабушка Роза просила у своего Б-га помощи.

Потом они уехали, увезя детей. Уехали, когда их мужья вернулись, и им больше ничто не угрожало. Но с тех пор они уже не стыдились бабушки и писали ей письма аккуратно.

А потом была война. Когда немцы заняли город, никто из бабушкиных сыновей не смог её защитить. Они были в армии. И до невесток с внуками было не докричаться. Даже я с мамой, как назло, жили в то лето далеко от города и туда уже не вернулись. Она погибла вместе с другими евреями, не успевшими или по старости не сумевшими убежать из города.

После войны, уже взрослым человеком, я заехал в этот город. Лично у меня там не осталось ничего. Потянуло к местам, где прошло детство. А если не кривить душой – надеялся разыскать могилу бабушки Розы.

Военная крепость, где мы жили до войны, сгорела дотла. Вокруг пустых узких окон-бойниц на кирпичах были чёрные полосы копоти. На плацах, где когда-то солдаты учились рукопашному бою, росла дикая трава, и там паслись козы с репьями, застрявшими в бородах и на боках. Кое-где крепостные стены обвалились. Крепость не восстанавливали: она была бесполезной в условиях современной войны.



Сгорел и многоэтажный дом, в подвале которого жила бабушка Роза. Кирпичные стены с облупленной штукатуркой. Повисшие в воздухе лестничные марши. Скрученные, словно в конвульсии, железные балки перекрытий. Но подвалы этого пожарища были обитаемы. Окошечки у самого тротуара были застеклены, и, нагнувшись, можно было разглядеть, что там, за стеклом, кто-то двигался. На стук открыла старушка. С крестиком на дряблой шее. Когда-то жила наверху в этом же доме.

Она меня узнала. И даже всплакнула. Пригласила войти. Вещи в подвале были другие, не бабушкины. За кроватью, покрытой стёганым одеялом, стояли на полке два до боли знакомых подсвечника. Тусклого серебра. Перевитые виноградными гроздьями.

– Это её, – кивнула старушка. – Как уводили, беднягу, сказала мне: возьми себе. На память. Мол, больше ничего у меня ценного нет. Ну, раз вернулся живой – твои они. По наследству.

Она завернула подсвечники в газету с фотографией Сталина в форме генералиссимуса на пол страницы и протянула мне. Я принял их в раскрытые ладони, и руки мои дрогнули.

...Теперь, в таможне, я держал в руках оба подсвечника и смотрел в рыбки, с похмелья, глаза чиновника, всё ещё надеясь, что он вдруг улыбнётся, махнёт рукой и скажет:

– Ладно! Вези оба!

Он не улыбнулся.

– Попрошу не задерживать, – сказал он, не глядя на меня. – Один подсвечник разрешаю взять, второй оставьте здесь. И чтоб больше к этому вопросу не возвращаться.

– Дай, сынок, мне один.

Мой отец протянул руку к подсвечнику. Я уже был в зале ожидания, где толпились евреи, прошедшие таможенный досмотр. Они держали сумки, маленькие чемоданчики – ручную кладь, которую позволяли взять с собой в самолёт. У меня в руке, зажатый посреди стебля, мерцал серебряный подсвечник.

За толстым звуконепропускаемым стеклом от пола до потолка, прозрачной, но глухой стеной отгораживающей уезжающих от провожающих, стоял сдавленный другими евреями мой отец, приплюснув нос и шевелящиеся губы к стеклу. Я ничего не слышал, сколько ни напрягал слух. Мы уже были в двух разных мирах, разделённых не только этим стеклом, но и границей, о которой напоминали то и дело проходившие по залу солдаты с автоматами в зелёных фуражках пограничных войск. Глаза отца моргали – он силился сдержать слёзы, как подобает офицеру, хоть и отставному. У меня тоже из-за влаги в глазах расплывалось, текло изображение, и нестерпимо, до рези, посверкивал в отцовской руке бабушкин подсвечник, насильственно разделённый со своим напарником. Должно быть, и меня отец тоже видел нечётко, и ему туманно отсвечивал второй подсвечник, в моей руке. И эти два ярких серебряных блика у меня и у отца по обе стороны стекла выделяли нас обоих в толпе, как две половины расколотого целого.

**Эфраим СЕВЕЛА.**